

Они, мы, я...
**Реконструкция семейной идентичности
и процесс нравственной самоидентификации
в текстах Моника Шнайдерман
и Елены Чижовой**

Аннотация:

«Продавцы поддельного перца» Моника Шнайдерман и «Город, написанный по памяти» Елены Чижовой рассматриваются в статье с точки зрения эмпатической реконструкции в них семейной памяти, восстановления чувства целостности рода, компенсации урона, нанесенного им как историческими катаклизмами XX в., так и замалчиванием травм. Особое внимание уделено анализу использования Чижовой и Шнайдерман личных местоимений как средству оценочной интерпретации действительности, упорядочения этически размытых ситуаций.

Ключевые слова:

семейная память, Чижова, Шнайдерман, блокада Ленинграда, Холокост, местоимения, семейные расстановки, Хеллингер

Irina J. ADELGEYM
(Moscow)

They, we, me...
**Reconstruction of family identity
and the process of moral self-identification
in Monika Sznajderman's
and Elena Chizhova's texts**

Abstract:

«The sellers of fake pepper» by Monica Sznajderman and «The City Written from Memory» by Elena Chizhova are analyzed in the article from the point of view of empathic reconstruction of family memory, restoration of a sense of the integrity of the clan, compensation for the damage caused by both historical cataclysms of the XX century, and silence injuries. Particular attention is paid to the analysis of the use of personal pronouns as a meaning of evaluative interpretation of reality, ordering ethically vague situations.

Keywords:

family memory, Chizhova, Sznajderman, blockade of Leningrad, Holocaust, pronouns, family constellations, Hellinger

Дискурс «семейного альбома» — так можно определить специфику повествований Моника Шнайдерман и Елены Чижовой — питает самые разные литературные жанры: от беллетристических и документальных форм до всевозможных гибридов. По прошествии XX в. с его историческими катаклизмами, безжалостно ломавшими ветви семейных деревьев, литературная реконструкция и реинтерпретация фамильного опыта — в частности, наррация, опирающаяся на художественную каталогизацию уцелевших предметов и документов повседневной жизни как единственных носителей памяти о сметенных историей звеньях цепи рода, вынужденная подкреплять и скреплять себя чужими воспоминаниями — становится бесценным инструментом «реставрации», «штопки», а порой и строительства заново личной и семейной идентичности.

С точки зрения цели и структуры, такое повествование оказывается подобно психотерапевтическому методу семейных расстановок Хеллингера¹, помогающему обнаружить «выпавшие» из семейной памяти фигуры и сюжеты. «Продавцы поддельного перца» (2016) Шнайдерман и «Город, написанный по памяти» (2019) Чижовой представляют собой воплощение в слове «мемориального усилия», эмпатическую реконструкцию судьбы предков, восстановление ощущения целостности рода, преемственности фамильной истории. Это тексты-расследования, призванные компенсировать урон, нанесенный семейной и личной памяти сначала историческими катаклизмами, а затем «двойным запором», т.е. заговором и обетом молчания в семье и в обществе — «временем, заматающим следы»².

Повествование Шнайдерман и Чижовой имеет болевые точки, к которым последовательно отсылают все его элементы. Воронка, поглотившая предков, мельница, перемоловшая их судьбы — Холокост и антисемитизм в оккупированной и послевоенной Польше у Шнайдерман и блокада и сталинский террор у Чижовой. Разрушившие жизнь и нарушившие преемственность поколений и семейной памяти, они становятся «нервом» наррации: «Они уцелели только на этих фотографиях»; «Но вас, тебя, Алека и Амелии, тогда уже там не было. И твоего отца [...]. Он не видел, как в 1942 году убивали душевнобольных [...]. Все это было позже»; «Перед тобой семь лет счастливого детства»; «Но все это было в прежнем мире. В новом будет иначе»³; «По маминим словам, бабушка „очень переживала,

расстраивалась, что не мальчик” [...] (тут [...] она, что называется, дала маху, не распознав замысла судьбы, уже строившей на мальчиков свои, далеко идущие, планы) [...]. Мне, доподлинно знающей, что станется с этими чистыми мальчиковыми телами, слышится слово: напоследок. Из мальчиков, отправленных на фронт летом 1941-го, в живых останется 3% от общего числа»; «Война — рубеж»; «... пока — преддверие ада: за стенами, в городе творится что-то неладное. Носится в воздухе, крадется по лестницам, срывает чугунные крюки. [...] ни дать ни взять бешеная корова — будет носиться по площадям и улицам, мотая железным боталом. Слизывая соль земли моего города наждачным, не знающим ни пощады, ни жалости, языком»⁴).

Память об одной ветвей генеалогического древа Шнайдерман — еврейской — долго время была «запечатана» молчанием отца, потерявшего во время Холокоста всех родных. «Немота» подобных ему имела причины как субъективно-психологические (неспособность человека вместить опыт смерти в сознание и повседневную жизнь), так и связанные с социологией, макропсихологией, государственной политикой. В той или иной степени молчал весь послевоенный мир, «не желавший более слышать о страдании»⁵, однако в разных странах молчание это было разным и, в свою очередь, различным образом и на протяжении различного времени воздействовало как на травмированную психику Выживших, так и на психологию следующих поколений. «Эмоциональная коннотация Холокоста зависела от дискурса социума»⁶, т.е., на деле, от позиции и иерархии ценностей того или иного национального большинства, вынуждавшего или не вынуждавшего еврейское меньшинство вновь испытывать страх и/или стыд, и, как следствие, от возможности или невозможности вербализации травмы Выжившими и их окружением не только в узком кругу, от возможности или невозможности сохранения четкой самоидентификации, национальных традиций, преемственности памяти и пр. Послевоенный антисемитизм в ПНР никак не способствовал культивированию и структурированию семейной памяти: уцелевшие евреи зачастую продолжали жить «по арийским документам», скрывая свое происхождение — в том числе и от собственных детей. Шнайдерман знала, что отец — еврей, однако он никогда не рассказывал о своих погибших родных: «... опустил занавес молчания не только на военную — чудовищную — главу своей био-

графии. Не упоминал также о [...] счастливом довоенном времени. Хотел полностью избавиться от прошлого. Хотел, в определенном смысле, родиться заново. [...] Такая защитная реакция характерна для тех, кто пережил Холокост. Им необходимо забыть о своем прошлом, чтобы иметь силы создать жизнь заново, выстроить собственное будущее. [...] Мы не разговаривали о его прошлом. [...] В детстве я чувствовала, что его молчание что-то означает, [...] что нельзя его безнаказанно нарушать. Но, конечно, ничего не понимала»⁷, — говорит в интервью автор «Продавцов поддельного перца». «Мне пришлось просто перевернуть ту страницу, чтобы как-то адаптироваться к тому, что происходило позже, — объясняет отец Шнайдерман. — Эти два мира было совершенно невозможно состыковать. А потом я уже не смог к этому “раньше” вернуться. [...] Наверное, я просто закрыл — может, подсознательно — дверь в прошлое. Что-то вроде защитного механизма. И позже не сумел ее снова открыть»⁸. Так возникал «заговор молчания, двойная стена безмолвия»⁹ — родители не говорят, а дети не спрашивают.

Подлинная, не деформированная советской идеологией блокадная память (и память о «Большом терроре») в книге Чижовой также «заперта двойным запором: снаружи и изнутри»: «То, что со стороны государства — заговор молчания, со стороны блокадников — обет. Где заканчивается одно и начинается другое — уже невозможно различить...»; «Из памяти выживших блокаду ничем не выкуришь. Но [...] живым приказано молчать. Этим тайным, не облеченным в прямые слова, приказом государство пыжится доказать себе и другим: прошлое мертво. О нем, как о покойнике. Либо хорошо, либо ничего»¹⁰. «Совместными усилиями [...] живая блокадная история стремительно двигалась в тупик»¹¹, — констатирует повествовательница. По словам Т. Ворониной, «... язык рассказа об этом событии, созданный в недрах советской культуры и идеологии, был призван маркировать лишь те стороны повседневности, которые оказывались пригодны для героического нарратива об успехах и достижениях, но оставлявшего за рамками травматический опыт. [...] пристальный взгляд изнутри даже очень лояльных властям авторов не давал оптимистичной перспективы и не позволял интерпретировать блокаду как исключительно позитивное для советской истории и идентичности событие»¹².

Наррацией Шнайдерман и Чижовой движет механизм эмпатии, позволяющей постфактум противостоять насилию и забвению. Повествовательницы «воскрешают» предков и хронотоп их бытия. Они скрупулезно реконструируют детали взрослого и детского быта: «В этом году, сообщает пресса, не следует ожидать вспышки скарлатины, что не могло не обрадовать Амелию, ведь в августе, перед самым твоим рождением, было зарегистрировано двадцать пять случаев»; «Благодаря словам и фотографиям, мы знаем, что 12 октября 1932 года ты очень сосредоточенно рисовал карандашами на медзешинской веранде. Мы знаем, какая на тебе была пижама. Знаем, как ложились прощальные лучи октябрьского солнца»¹³; «Выстиранное белье сушили на чердаке, разгороженном на отдельные секции — по числу квартир. В сентябре, после первой бомбежки, дощатые перегородки разобрали [...]. [...] песком взрослые [...] тушили зажигалки. Однажды она тоже затушила. За это ей влетело от матери: зачем ходила на чердак! [...] Главная детская жизнь протекала во дворе или в Польском саду»; «В эвакуацию уезжали вместе. [...] Готовиться к отъезду начали заранее. Шили клеенчатые конверты — детям казалось, огромные»; «Передо мной встала и другая картина: той же ночью, дождавшись, пока все доставленное наконец распакуют, Сергей Тимофеевич...»¹⁴. Одинаково бережно воссоздают как физические реалии («Ты родился ночью с воскресенья на понедельник. К счастью, было не жарко — днем температура от десяти до семнадцати градусов»); «И так они шли, твой отец с твоим братом, в горячий летний день через все гетто»¹⁵; «... в маминой памяти снега уже нет, но их пронизывает, подирает холодом — так дает знать о себе крайняя истощенность»; «Сохранилась фотография: маме 16. Лицо одутловатое, следствие нездорового питания...»¹⁶), так и психологические («Но ты еще об этом не думаешь. Ты думаешь больше о дне рождения»); «Он отрекся от семьи, религии и традиции, стал ассимилированным евреем, стыдящимся своего происхождения. И, как следствие, особенно после развода, одиноким»¹⁷; «Блокадная должность управхоза — „золотое дно“»; «В твоей детской памяти осталось воспоминание, что она болела долго и тяжело»; «Капитолина наворачивает тряпку на швабру: троцкисты — понятно. Они враги. С теми-то расправились, теперь эти замышляют. Она думает: те, эти... В ее голове чечевичная каша из врагов»; «То, что видит бло-

кадная девочка, похоже на лица — с них будто огромным чугунным крюком содрали кожу»¹⁸).

Вычерчиваются гипотетические линии передвижения предков по давно изменившемуся или разрушенному пространству: «Шли одни или в толпе [...] Пересекли [...] Что сказал Игнаций Алеку? Знал ли он, куда они идут?»; «Потом я вижу, как вы идете вместе за свежими овощами на базар на Сосновую улицу. Или отослать открытки на почту на улице 11 ноября»¹⁹; «Мне, исходившей Ленинград вдоль и поперек, не нужна карта, чтобы представить ее горький маршрут...», «Из окна моего сегодняшнего дня я вижу, как по Измайловскому проспекту [...] движется грузовик с дровами. Мои глаза различают каждое расколотое полешко. Все — вплоть до годовых колец»; «... в марте, собравшись с силами и взяв с собой внучку [...] отправилась к себе на Забалканский. Проверить, как они там. Словно впав в невроз навязчивого повторения, история семьи двоятся. Маме без малого одиннадцать — ровно столько было ее матери, когда бабушка Дуня вела ее по пустому городу. [...] Петроград, к которому девочка Капа приглядывалась в 1922-м, не пострадал. Теперь, через двадцать лет, глаза ее дочери то и дело натываются на обгорелые остовы»²⁰.

Повествовательницы стремятся заглянуть в прошлое, задавая вопросы, на которые чаще всего нет ответов: «Я не знаю, и ты тоже не знаешь, кто выстроил этот дом. [...] Я не знаю точно, когда и почему...»; «Наверное, иногда вы ездили...», «Возможно, на самом деле...»; «Порой, догадываюсь я...»; «Что они делали в Архангельске в 1907 году...»²¹; «... отдала [...] золотые часы. [...] В обмен получила буханку хлеба, 200 грамм сала, брикет горохового супа. Прежде чем отдать часы, бабушка их поцеловала: в крышку, как в губы. С кем она в этот миг прощалась, уже не узнать...»²².

Пытаются подробно пережить в тексте мгновения гибели или на грани ее: «Я надеюсь, что Шмуль Хаим погиб сразу, от первого выстрела, а не задохнулся в вагоне для скота по дороге в Треблинку или потом, в газовой камере»²³; «Как он погиб? Как все. Солдаты, погибавшие под Ленинградом. И все-таки я хочу видеть, как он упал. Раскинул ли руки или сжал винтовку? Была ли у него винтовка или только связка гранат? Или не связка, а одна-единственная? Что он крикнул в последний миг, пока губы не сомкнулись...»; «... мама начала умирать. [...] Мысль о хлебе отступает. Умереть — снять

с себя изорвавшееся тело, сбросить, точно камень с души. Вот она снимает. Аккуратно расправив, вешает на спинку стула... Теперь оно больше не мешает: выйти в коридор, из коридора на лестницу — чугунный крюк услужливо откинут, — спуститься вниз по горбатым, в леденелых фекалиях, ступеням. Ах, как же это просто, если нет никакого тела. Бывшие ноги не оскользают, слушаются»²⁴. При рассказе о трагических финалах Шнайдерман использует то прошедшее время глагола («Там, а может раньше, где-то по дороге, умер Селим, твой дедушка»), то настоящее — оно словно бы стирает границу между эпохами и воспоминаниями («Хенрик *погибает* во время Варшавского восстания, случайно, на улице, от шальной пули»), то будущее, которое воплощает «избыточное» знание повествовательницы о том что будет — оно отравляет сам процесс воспоминания («Осенью 1940 года твой дедушка Селим Розенберг *окажется* в гетто...»; «Дом на Мурановской 40, *сгорит* 28 апреля 1943 года, но моего дедушки уже *не будет* тогда на свете. Но это *случится* позже»²⁵). Чицова использует трагические в своей простоте перечисления: «Счет мальчиковых смертей на этом не останавливается. Сын соседки Муси умер зимой сорок первого. [...] Мамин двоюродный брат Алик годом позже — в блокаду. [...] Она умерла перед самой войной. [...] После блокады в живых осталось трое: Валя, Лиля, Вера»; «Другие ее мальчики погибли. Все» (далее следует «список безвозвратных потерь» — фамилии, имена, даты гибели, места захоронения²⁶). Однако порой эта память, слишком болезненная, словно бы заставляет отшатнуться: «А я не пытаюсь даже себе представить, как в чудесный июльский день 1941 года, должно быть, боялась моя молодая, полная жизни, бабушка»; «Да, я не могу себе представить, что ты пережил. [...] Не могу себе представить, как ты пережил [...]. Не могу себе представить...»²⁷.

Поскольку в фотографии поистине само время извлекается и в целостности и сохранности «переносится в сегодняшний день зрителя»^{*28}, воссозданию биографической реальности предков, «топо-

* Неслучайно фотографии и разговор о них оказываются «как раз тем, что позволило переломить молчание [отца Шнайдерман. — И. А.]. Потому что эти фотографии говорят о жизни, а не о смерти. Мы разговаривали о деталях — кем был Мауриций, где стоял стол, какие газеты читали за утренним кофе. [...] Потому что для него — тогда ребенка — это был рай, идиллия. Тем более по сравнению с тем, через что он прошел во время Холокоста — осиротевший, поскольку сначала

логии обжитого пространства и нагруженного смыслом времени»²⁹ способствуют снимки — включенные в повествование как изображение и как текст. Повествовательницы «оживляют» их: «... что-то в другой газете, разложенной на большом столе, прикрытом белой клеенкой. [...] Что в этой газете заинтересовало твоего деда? Я просматриваю ее, пытаюсь это вообразить. Это мой способ воскресить их или войти в их мир, единственный, который у меня есть»; «Эти несколько черно-белых фотографий, эти несколько архивных документов — в моей ситуации очень много, и — поскольку другого выхода нет — можно выстроить из них повествование»; «Я запоминаю их лица и фигуры, собираю детали и предметы, каталогизирую одежду и переодевания, выхватываю мгновения и наблюдаю за чувствами, внимательно высматриваю солнечные пятна, собираю крупички бесследно исчезнувшей жизни. Потому что больше ничего от них всех у меня не осталось»; «Фотография [...] дает мне вещественные доказательства, позволяющие поверить, что они существовали. Таким вещественным доказательством будет также фотография, сделанная [...]. Таким вещественным доказательством является также фотография, подписанная...»³⁰; «Сохранились три бабушкиных фотографии. На первой [...]. На второй она уже [...]. На мой взгляд портнихи с многолетним стажем, глазком и подгонкой дело не обошлось. [...] Вглядываясь в бабушки-Дунино лицо, я пытаюсь найти следы времени»; «Но меня, когда я смотрю на эту фотографию, не оставляет тягостная мысль...»³¹.

Для повествования Шнайдерман неожиданно «всплывшие» — вернувшиеся из Америки фотографии еврейских родственников — дедушки, бабушки, маленького отца и его младшего брата (подробно подписанные и посланные за океан перед войной) — имеют сюжетообразующее значение, становятся катализатором переживаний, размышлений и порожденного ими повествования. Родные, погибшие во время Холокоста, никогда не виденные (или увиденные уже

его мать погибла при погроме в Злочове, а потом отец с братом при — ликвидации гетто» (Monika Sznajderman: jak pogodzić się z tym, że dziesięcioletni chłopiec jedzie do Treblinki? Wywiad // Magazyn O!Kultura. 2016. №13 URL:<http://ksiazki.onet.pl/monika-sznajderman-jak-pogodzic-sie-z-tym-ze-dziesiecioletni-chlopiec-jedzie-do/hwl2xz> (дата обращения: 14.09.2020)). Подобным образом и у Чижовой в процессе работы над книгой «тайный блокадный союз» взрослых свидетелей исторической травмы дает трещину — «мама начала потихонечку рассказывать» (Чижова Е. Город, написанный по памяти. М., 2019. С. 259).

навсегда осиротевшими — как отец писательницы, единственный выживший из всей семьи), обретают лица и контекст — бережно реконструируемые сцены из навеки утраченной реальности. Все это «... сохранилось только на фотографиях. [...] Фотографиях, чудом уцелевших»³², «полных радости, тепла, покоя», запечатлевших предков «гуляющими, смеющимися, разговаривающими, обнимающимися»³³.

Чицова и Шнайдерман словно бы осуществляют в слове процесс, именуемый М. Лэнгфорд «устным перформансом»³⁴: семейный фотоальбом подразумевает процесс совместного просмотра, просмотр спонтанно порождает диалог, а диалог в свою очередь формирует коммуникативную память. Отсюда потребность в ностальгическом не просто описании, но специфически подробном *описывании*, «глубоком прочтении» снимков (фотография словно бы стремится стать текстом, а текст — фотографией). Так рождается не просто повествование, но зачастую и собственно его герои — незнакомые или почти незнакомые повествователю предки или участники их жизни.

Фотографическое мировоззрение как таковое «придает каждому моменту или явлению некую таинственность и многозначительность»³⁵, снимки обостряют ощущение преходящести и неумолимости времени и Истории, которые видятся сконцентрированными в конкретной судьбе, словно в линзе. Созерцая довоенные фотографии, повествовательницы одновременно переживают прошлое и будущее: то, что для них (и до них) уже *было*, более того (сталинский террор, война, Холокост, блокада и пр.), для изображенных на фото предков еще только *будет*. В «Продавцах поддельного перца» Шнайдерман картины беззаботного отцовского детства на снимках, «говорящих громким и радостным» голосом, тем не менее, наполняют повествовательницу «печалью и страхом», поскольку она «знает больше»: «Да, все эти фотографии пережили войну физически целыми, не изуродованными Холокостом. [...] Но и на этих вроде бы целых снимках возникает тень [...] Это тень приближающихся времен, ведь нам известен финал. Поэтому они также запятнаны смертью»³⁶. Практически каждый снимок заставляет задуматься о «будущем в прошедшем» — сюжетно- и смыслообразующих болевых точках наррации: «Ты еще не знаешь, что скоро тебе придется стать совсем взрослым. И что ты останешься в полном одиночестве»; «Сегодня

нет забора, нет Амелии [...]. Нет твоего дедушки [...] его жены [...] и их сыновей, твоих дядьев», «Пока еще Алек, прижавшись к матери, едет летним солнечным днем не в Треблинку, а в Медзешин»³⁷. Чижова, описывая предвоенные фотокарточки, на которых снята ее мама, вынуждена вести трагический счет: «... все девочки кроме мамы умерли в блокаду»; «После блокады в живых осталось трое [...]». Из девяти детей умерло шестеро»³⁸.

По Хеллингеру, главным источником психологических проблем у последующих поколений является исключение (т.е. забвение) из «семьи» кого-либо из участников травмы, нарушающее функционирование системы, образующее «затор», который позже будет болезненно переживаться потомком. Метод расстановок помогает обнаружить подобные «исключенные» фигуры и истории, человек получает возможность признать их, включить в свою собственную историю, а система — свободно развиваться. Согласно философии системных расстановок, в истории семьи всегда рано или поздно появляется тот, кто возвращает память об исключенном (точнее, память о том, за что тот был исключен), — неосознанно проживая мотивы его жизни. Согласно принципу расстановок, вклад в семейную систему каждого ее члена должен быть увиден и признан. «Расстановка становится исследованием того, где жизнь идет полным потоком от родителей к детям и далее в свободном обмене между всеми, а где она остановилась, обращена вспять, заблокирована. В расстановке можно освободить этот блок, застой или уменьшение жизни. Освобождение происходит единственным способом — через внутреннее позволение *быть* тому, что раньше не имело такого позволения в этой системе»³⁹, — путем отделения своей истории и своего времени от истории и времени предков или, напротив, путем приятия их аналогии и пр. Эти задачи непроизвольно всплывают и решаются в процессе повествования Шнайдерман и Чижовой.

Ощущение белых пятен, пробелов в фамильной истории мучит повествовательницу «Города, написанного по памяти»: «Лишь по прошествии десятилетий, взглядевшись в перипетии и контуры нашей общей семейной истории, я пойму, а вернее, почувствую: что-то в ней не бьется. Будто все, что мне известно об их далеком прошлом, — своего рода водопроводный кран. А труба — она там, в глубине»⁴⁰. Чижова, по ее собственным словам, «безрассудно [...]

умножает догадки и домыслы — лишь бы заштопать малюсенький клочок ткани, протершийся до дыр задолго до моего рождения»⁴¹.

Повествование направлено на то, чтобы освободить память о предках — и память предков — от печати страха и унижения: «Это не она, это я ропщу на ее судьбу»⁴², — говорит Чижова, а Шнайдерман признается, что муж, писатель Анджей Стасюк, сказал ей: «... если в какой-то момент нужно принять чью-либо сторону, то это обязательно должна быть сторона тех, кто слаб, кто проиграл, кто не выжил, *от имени которых кто-то должен говорить* [курсив мой. — И. А.]. Это было для меня очень важно»⁴³. Текст восстанавливает подвергшиеся забвению звенья рода, восполняет утраченные в процессе исторических катаклизмов связи (неслучайно Чижова пользуется понятиями «стволовых клеток», из которых «выращивает историю своей семьи»⁴⁴), объединяет поколения: «Собственно, в этот миг он и становится дедом: моим и моей сестры, и прадедом наших дочерей — когда, подняв руку [...], дает отмашку водителю. [...] Машина дров — блокадная мера жизни. Сложив маленькую печку и снабдив ее дровами, мамин отец эту меру наполнил. „Если бы не те дрова... В блокаду у нас всегда было тепло. Иначе нам бы не выжить“, — это не мои, это мамины слова. Мой дед [...]. Мы, потомки, обязаны ему жизнью [...]. Кроме двух его фотографий и заверенной копии похоронки [...] здесь, на земле, больше ничего не сохранилось. Разве что глаза — дедово наследство, которое досталось мне. У нас с дедом разные профессии [...]. Мне нечем отдать ему долг — кроме слов»; «Ты меня не знаешь. Меня растили, учили, воспитывали другие. О, если бы не ты, ничего бы у них не вышло» (помимо родных, повествовательница также отдает долг соседке, спасшей маме жизнь стаканом муки, который был немислимыми усилиями тайком вынесен из пекарни, — разрушая, наконец, обет молчания: «Об этой муке, пронесенной через проходную, мама молчала семьдесят пять лет. Боялась бросить тень...»⁴⁵, и подтверждая идею Хеллингера о том, что к семейной системе относятся не только родственники, но и люди, связанные с человеком отношениями «масштаба жизни и смерти»).

«Среди многочисленных преступлений, совершенных гитлеровской Германией по отношению к своим жертвам, одним из важнейших следует считать разрыв родственных связей»⁴⁶, — утверждает

Л. Лангер. Наполняя ограбленную Историей и вытеснением травматических воспоминаний память потомков реальным содержанием, текст позволяет автору встроить себя в семью, род и одновременно семью, род — в свое сознание («... моей, а значит, и нашей семейной судьбы»⁴⁷).

У Шнайдерман, которой большая польская семья со стороны матери позволила долгое время не ощущать отсутствие принадлежности к роду и отсутствие семейного «тыла», острое чувство неполноты возникает лишь во взрослом возрасте: «Моя бабушка, которой я никогда не знала, и мой дедушка, которого я никогда не знала»; «... странная фантомная боль, которая наваливается на меня время от времени, когда я обо всех них думаю»; «... есть всё, нет только одного — осязаемого следа тех, кто жил в этом городе веками и незаметно ушел. Довоенных евреев. Моих еврейских предков»⁴⁸. «Все детство я считала себя прежде всего наследницей Ляхертов (со стороны матери), — признается автор «Продавцов поддельного перца». — Никогда в этом не сомневалась. Однако когда до меня дошли сведения о „медзешинско-варшавской“ ветви семьи, довольно обеспеченной, полностью ассимилированной, я была удивлена. А потом оказалось, что мои корни также — в бедных радомских лавочках, магазинчиках, швейных мастерских. Это очень забавно: все детство считаешь себя наследницей поместья, а потом выясняется, что другие твои предки работали приказчиками, портнихами... Забавно, интересно и поучительно. Я почувствовала себя гораздо богаче. Со временем некоторые радомские предки стали настоящими предпринимателями, одного из них мы называли бы сегодня девелопером. Может, это от него я унаследовала предпринимательскую жилку [подобный мотив есть и у Чижовой: «... мне она оставила в наследство то, что называется вкусом к предпринимательству. И твердую руку — в такого рода делах»⁴⁹. — *И. А.*] [...] Я познакомилась со своими предками»⁵⁰. Это новое ощущение близости, подаренное процессом повествования, столь сильно и реально, что способно причинить боль: «Однако одновременно это открыло во мне новые раны, которым трудно будет зарубцеваться. Пока я писала свою книгу, воспроизводя жизнь моих предков, я слишком долго с ними общалась. Как потом смириться с тем, что десятилетнего мальчика увозят в Треблинку?»⁵¹

«Тень, лежавшая на моей памяти, уходит»⁵², — констатирует Чицова. Она визуализирует встречу с выпавшим из семейного нарратива персонажем: «Ее лица я не вижу — там, где полагается быть лицу, лежит густая тень (когда вырасту, я узнаю: такими, окутанными вуалью времен, становятся фотографии, не попавшие в семейный архив). [...] В зеркале моей памяти остается образ руки. Но мне довольно и этого, чтобы вспомнить свою прабабушку [...], которую я никогда не видела — даже на фотографиях. И восстановить — точно перпендикуляр из точки, вспухшей на оси моего воображения, — всю ее в высшей степени и в полной мере удавшуюся жизнь»; «Сквозь мамины, измененные временем черты проступает другое лицо. Лицо моей прабабки. [...] Руки лежат на столешнице, пальцы едва заметно вздрагивают. Мы — сообщающиеся сосуды: я чувствую дрожь. [...] Сидя за дубовым столом, я, ненадежная наследница, вслушиваюсь в ход ее мыслей: словно не только стол, но и мысли моей прабабки достались мне»⁵³.

Процесс обретения семьи, воссоединения разорванных звеньев рода происходит и от имени родителей. «Мой отец так и не узнал своих радомских родственников, он не знал также, как звали его дедушку и бабушку. [...] В каком-то символическом измерении я вернула отцу его семью. [...] Благодаря книге, мы оба обратились к воспоминаниям, к прошлому. [...] Я вернула отцу память, сделала ее нашей общей памятью, и это, пожалуй, самое главное. [...] Книга позволила ему отчасти вернуться к истории своих родных, а с некоторыми и познакомиться заново. С тех пор как я начала возвращать к жизни его близких и дальних родственников, отец почувствовал себя — мне кажется — менее одиноким»⁵⁴, — говорит Шнайдерман.

Повествование также позволяет встроить историю семьи и в Историю страны, а Историю страны — в историю семьи: «Но что же мне делать, если сквозь их личную историю проступают изначальные смыслы, важные для истории страны»; «... в основе моей жизни лежат разные нити. Но именно бабушка Дуня [...] проложила ту, единственную, держась за которую, я [...] выбралась из лабиринта советской жизни»⁵⁵. Шнайдерман видит своей задачей вписать в Историю судьбы своих предков — «людей без истории», «обычных людей, живших в необычные времена»: «... я не вижу другого пути. Во мне течет их кровь, во мне их гены, их судьбы. Пользуясь остатками сохранившегося, я пишу свою приватную „Книгу Радома” и

возвращаю память о них»⁵⁶. Трагическим посредником в этом неумолимом единстве Чижова делает родной город, подтверждая мысль Джеффри К. Хасса о том, что «ленинградцы соотносили собственные страдания со страданием всего города: Ленинград превратился в якорь психологических установок, идентичностей и практик, страдая бок о бок с самими ленинградцами»⁵⁷: «Смерть, где твое жало? Год за годом задаваясь этим неотвратимо-мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не догадалась: оно здесь — в моей бедной, в моей загубленной стране. В моем прекрасном, в моем несчастном городе. В моей семье. Так сложилось ходом истории — общей, семейной, личной»; «Маминой семьи этот жесткий, в кровавых трещинах язык коснулся самым краем — но мне хватает и „общей памяти”, чтобы понять, что пережили ленинградцы, когда — в ожидании неизбежного — обмирали за квартирными дверями, заложенными на чугунные крюки»; «... я останусь, буду сидеть, перебирая их имена, как карточки, — только тогда я пойму: эти три женщины, тихо угасшие в Ленинграде, они — воплощение Петербурга, знак его, уже непоправимой, судьбы»; «Мне, правнучке и дочери тайного ордена...»; «... кто мы, жители Ленинграда, и какие узы связывают нас с теми, кто жил в этом городе до нас»; «Ведь, пройдя сквозь ленинградские испытания, львиная доля которых досталась не нам, а нашим родным и близким, мы, потомки их скромных династий, не ноем и не жалуемся, а, засучив рукава, беремся за дело»⁵⁸.

Обе книги также имеют сверхзадачу, не решаемую без описанного выше обретения, восстановления, очищения, демистификации фамильной памяти. Это процесс нравственной самоидентификации повествователя, механизмы которого оказываются тесно связаны со структурой повествования. Будучи актом коммеморации, «семейные альбомы» неизбежно стремятся к высвечиванию ценностных ориентиров. Здесь проявляются возможности, которыми обладают личные местоимения: подобно прочим общезыковым единицам и категориям, они могут быть использованы «для выражения как субъективно-личных, так и общекультурных, общенациональных или общечеловеческих оценочных смыслов», становиться смыслообразующими ориентирами, «маркировать мотивационную сферу, комплекс мотивационно-прагматических установок говорящего [повествователя], определенную систему убеждений и ценностей»⁵⁹.

Для Шнайдерман это попытка усвоения двойной оптики, осознания двойственности своего происхождения — польских и еврейских корней, стремление через слово адаптироваться к присутствию в своей *личной* истории драматически сплетенных, полных недоговоренностей судеб поляков и польских евреев в XX в. Это не просто проблема происхождения, не только восстановление ощущения связи с «выпавшей» из семейной памяти и не включенной в память личную еврейской ветвью генеалогического древа — наряду со знакомой автору с детства материнской родней, линией польской шляхты, предпринимателей, интеллигенции, варшавской довоенной элиты с ее страстным патриотизмом, а зачастую и национализмом, переходящим в антисемитизм. Судьбы поляков и польских евреев оказались связаны столь трагично, что автор испытывает сложности с самоидентификацией не в смысле национальной «классификации», а именно с *нравственной* точки зрения («Мне понадобилось много времени, чтобы освоиться с националистическими симпатиями моей польской родни, хотя о них не говорили прямо»⁶⁰).

Этот сюжет колеблется между абстрактным и конкретным. С одной стороны, — *абстрактное* знание (которое маркируется третьим лицом) о характеризовавших значительную часть поляков безразличии («В тот день лошади вообще были главной темой разговоров. [...] В тот день с Умшлагплац вывезли шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь человек [...]. Игнаций с Алеком [т.е. дед Шнайдерман с младшим сыном. — *И. А.*] были среди них»), неприязни («вспоминает уцелевшая во время погрома [...]: „Я слышала разговор Янковских: — Ну, теперь, по крайней мере, этих евреев проучили. — Янковская [...] радостно перечисляла фамилии тех, кого гнали наверх. [...] наверху расстреляли, как потом оказалось, более трех тысяч человек, и она из-за стрельбы и стонов ничуть не переживала, только напоминала дочери [...], чтобы та впустила кота, а то, мол, простудится”. Неужели Янковская [...] смотрела, как умирает мать двух маленьких мальчиков [...] — моя тридцатисемилетняя бабушка Амелия — и радовалась этому? И тревожилась лишь из-за кота? Как поверить, что такое возможно?») и алчности («12 апреля 1941 года оба гетто были закрыты, а в августе 1942 года началась ликвидация [...]. На опустевшие улицы гетто въехали подводы. На них грузили все, что только можно было уместить: мебель и зеркала, кастрюли и

тазы, ковры и белье, одежду и обувь. Вещи отправятся в новые, христианские дома, начнут новую, христианскую жизнь»⁶¹. С другой, — неотступная память о *конкретных* польских *родных*, чей патриотизм нередко граничил с национализмом. Здесь на первый план выходят местоимения «вы» или «мои» (родственники), словно бы сталкиваемые/сопоставляемые с абстрактным «поляки», «соседи», «представители интеллигенции», «жители»: «Интересно, как складывались *ваши* [здесь и далее курсив мой. — И. А.] отношения с польскими соседями. Поддерживали ли вы их вообще? Сомневаюсь. *Поляки* редко дружили с ассимилированными еврейскими семьями, но если да, то мне бы очень хотелось верить, что не *ваши* знакомые и соседи спешили на подводах грабить дома в 1942 году после ликвидации гетто в Отвоцке, Фаленице и Медзешине. Что это не *ваши* знакомые и соседи выламывали окна и двери, расхватывали одежду, столовое серебро, белье и мебель. [...] Среди грабителей, пишут в газете “Новы Дзень” за 27 августа 1942 года, были и *представители* так называемой интеллигенции»; «Несмотря на долгие и порой вполне дружелюбные отношения, *мои* польские родственники, как и *жители* окрестных поместий, во время оккупации не слишком переживали из-за судьбы еврейских соседей»; «Пока *мои* польские родные и их *соседи* зачитывались статьями о битвах на морях и в воздухе, а повседневная жизнь в имениях близ Люблина, несмотря на войну, шла почти довоенным чередом, в нескольких километрах от Цеханек, в Ленчне ситуация приобретала трагический оборот»⁶². В 1941 г. *польская* бабушка, «красивая, элегантная», позирует художнику среди буйной зелени раннего лета, и «в это же самое время или неделей-двумя ранее среди такой же зелени раннего лета в двухстах пятидесяти километрах погибла во время погрома [...] столь же красивая и столь же полная жизни [...] *еврейская* бабушка Амелия»⁶³. Повествовательница даже пытается визуализировать встречу родственников с обеих сторон: «Теоретически они могли столкнуться летом 1941 года на дороге в Варшаву — [...] польский помещик и два перепуганных еврейских мальчика, переживших смерть матери и возвращающихся из Злочова в варшавское гетто. Однако если бы это случайно произошло, они бы, вероятно, не заметили друг друга — прошли бы мимо, так же равнодушно, как уже давно жили — бок о бок — в Польше. Два уклада жизни при оккупации —

еврейский и польский — почти не имели точек соприкосновения⁶⁴. Повествовательница осознает, что зимой 1941-42 гг., когда «еще нет речи о ликвидации гетто, окончательном разрушении Муранова» и «еврейский дед все еще живет на Сенной 41», ее польский двоюродный дед «вместе с другими архитекторами и урбанистами тайно проектирует новую, восставшую из руин Варшаву»⁶⁵, и главным элементом этого проекта является застройка *еще* живого еврейского района — как *уже* пустого пространства. Пустого и лишённого памяти.

Повествование о «них» постепенно приводит автора к местоимениям «мы» и «наши» как знаку идентификации с обеими, столь трагически отстоящими друг от друга ветвями генеалогического древа и польской истории: «*Наша* помещичья семья не наживалась на истреблении евреев. Нет, *наша* помещичья семья никак не могла на этом нажиться. *Мы* ведь не были антисемитами. У *нас* были „свой“ евреи, и *мы* их любили, а они были чрезвычайно к нам привязаны. *Мы* никогда ничего плохого им не сделали [...]. *Мы* ведь были и остаемся добрыми, заботливыми, полными эмпатии людьми. [...] Вот только почему я не могу перестать думать о *нас*, сидящих в 1941 году за сытым обедом, и о *нас*, голодающих в гетто? О *нас*, играющих в бридж, и о *нас*, молящих о куске хлеба? О *нас*, играющих на скачках, и о *нас* предстоящих смерти? О *нас*, проектирующих новый Муранов в, наконец, освобожденной от евреев стране, и о *нас*, идущих по улицам Муранова к Умшлагплац? О *нас*, позирующих художнику в жаркий летний день, и о *нас*, под тем же солнцем умирающих от жажды в вагонах для скота и убиваемых выстрелом в голову во дворе замка?»⁶⁶ Так обостренно нравственная реконструкция параллели «они» / «они» превращается в проживание параллели «мы» / «мы».

Третье и второе лицо единственного и множественного числа незаметно превращаются в первое множественного, ретроспективно излагаемая перспектива деда-поляка — в пропущенную через совесть и душу автора личную перспективу, в которую, однако, «задним числом» вовлекаются и предки: «Чем дольше я наблюдаю сложный расклад чувств, которые вызывало уничтожение евреев в Ленчне, чем внимательнее смотрю на то, как мой польский дед оплакивал “своего” Лейба Зильберштейна [т.е. как раз такого «свое-

го еврея». — *И. А.*] [...], тем более не могу отделаться от впечатления, что не страдания еврейского народа *мы оплакивали*, а собственное страдание, не об уничтоженном еврейском мире *мы плакали*, а о *нашем* собственном утраченном мире, неотъемлемой частью которого, несмотря на свою чуждость, были евреи*»; «Почему события в Ленчне он лишь пару раз *упоминает* в своем дневнике, в котором столько места занимают описания далеких битв и большой политики? Отчего Ленчна не занимает все страницы дневника, отчего не заслоняет грандиозностью своей трагедии описания изысканных ужинов, охоты и бриджа? Почему *мы были безразличны?*»⁶⁷.

А затем Шнайдерман обращается к «нам» словно бы извне, здесь «мы», «вы», «они» сменяются, как в некоем калейдоскопическом, беспорядочном полилоге, включающем внутреннего прокурора: «*Мы искренне сожалели о наших еврейских соседях, искренне оплакивали их участь. Тогда почему мы все живы, а они все погибли? Мы недостаточно горько плакали? Но что мы могли сделать? Мы никого не убили, ни в кого не бросили камень. Ничьими кастрюлями не воспользовались, ни за чьим золотом не протянули руку. В чем мы виноваты? Вы говорите: равнодушие. Вы говорите: мы были для них, а они для вас чужими. [...] Мысленно я без конца веду такие разговоры и по-прежнему не знаю, могло ли что-то получиться иначе. Я также не знаю, как мне все это разложить и уместить в себе*»⁶⁸.

Чижова в «Городе, написанном по памяти» также последовательно акцентирует местоимения «мы» и «они», однако их наполнение и вектор иные — разделение, а не объединение.

Прежде всего, повествовательница сразу вводит противопоставление «мы» и «они». Эта жесткая двоичная система отсылает к праценностному сознанию: по словам И. Ю. Граневой, «Мы как неопределенный круг „своих“, „наших“, очерчивающее границы „своего“ мира, восходит к древнейшим моделям семантического представления значимого для человека, освоенного и присвоенного им фраг-

* Заметим, что художественная «меланхолизация» польско-еврейской истории, элиминировавшая или сглаживавшая чувство вины, позволявшая вписать уничтожение еврейского социума в национальный траурный ритуал таким образом, чтобы подлинным объектом траура оказался не Другой, а сам поляк, в силу *внешних* обстоятельств утративший привычного соседа, были характерны для прозы второй половины 1980-х — 1990-х гг. («Начало» А. Щипёрского, «Вайзер Давидек» П. Хюлле, «Творки» М. Беньчика и др.)

мента действительности»⁶⁹. В комментарии к собственному тексту Чицова определяет это умение — «отвечать на главный вопрос: свой или чужой?» — как «важнейшее для советской жизни»⁷⁰, т.е. экзистенции идеологизированной, в повседневности которой различие взглядов определенного рода являлось, в конечном счете, этически маркированным.

Географическое, историческое и этическое пространство, определяющее «наше» и «их» сознание, для Чицовой — Петербург-Ленинград, представляющий собой, как уже говорилось, огромную силу «как материальный и символический якорь идентичности и индивидуального достоинства»⁷¹.

Ощущение физических уз города и «нас» («... мысль об их разрушении непереносима: ведь каждая, пусть даже самая маленькая, утрата рвет мои мозговые связи. Взорвите дом на углу Невского и Малой Морской — и взрывной волной снесет целый квартал моих мозгов») заставляет повествовательницу антропоморфизировать город: «... другой канал, мой родной Крюков. Взяв его себе в провожатые, я направлялась [...]. Держась за руки (его чугунная ладонь была жестковатой, но даже сквозь варежку теплой), мы шли мимо [...], а он, мой тихий спутник, отправлялся дальше [...]. Махнув рукой на прощанье, я поворачивала...»; «Пробегая мимо угловой парадной [...], когда что-то, чему ты не знаешь названия, касается щеки»⁷². Ленинградские дома видятся принадлежащими тем, кто не выжил в блокаду, а не только лишь современным жителям: «И уж если по справедливости, все эти комнаты, кухни и прихожие, которые мы опрометчиво называем своей юридически неотторжимой собственностью, принадлежат не только *нам*. В координатах блокадной истории мы — маленькие валтасары, не ведающие того, что однажды может проступить на наших стенах [...], в переводе с арамейского на ленинградский это будет означать: исчислил Бог собственность твою: она взвешена на весах и найдена легкой; разделено жилье твое между *ними* и *тобой*»⁷³ (характерно, что подобный сюжет распространен в современной польской прозе о бывшем еврейском районе Варшавы⁷⁴). Но и Город хранит «нас», верных его памяти «последних „петербургского текста“, или, по мнению чужаков, его запоздалых данников»: «Присваивая почетное звание хранителя, я отдаю себе отчет в том, что совершаю психологический перенос. На са-

мом-то деле Петербург хранит меня. [...] Много месяцев маявшаяся тревожной бессонницей, здесь я в первую же ночь заснула сном младенца: под защитой своего города, под его покровом, непроницаемым для страхов, мучений и бед. В любую темную подворотню или подслеповатую парадную я вхожу без тени страха: здесь, в этом городе, на этом пятачке вселенной, мой страх не отбрасывает тень»⁷⁵.

Неслучайно взросление героини-повествовательницы определяется моментом, когда «имя города» начинает занимать «отдельную клеточку [...] памяти»⁷⁶. Осознание своей причастности к пространству и истории *освященной смертью* петербургско-ленинградского города-текста, себя — частью «нас» («Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград»; «Сюжет самый что ни на есть ленинградский: „Сошествие во ад“. Не пройдет и трех лет, как, приняв форму блокады, он воплотится в жизнь»; «Я, родившаяся в городе, в котором все переводится на язык хлеба...»; «А уходя, [души. — *И. А.*] остаются ленинградскими, потому что привыкли жить в городе, где едва ли не в каждой квартире кто-то умирал с голоду...»; «... мы родились и выросли в городе, где смерть — явление не отвлеченного, а самого что ни на есть реального порядка»; «Здесь, где по улицам ходят бесплотные тени, живые неотделимы от умерших, умершие — от живых») — своего рода инициация: «... блокадный трагизм, пронзивший мою детскую память»; «... впервые в жизни ощутив себя действующим лицом экзистенциального сражения, я поняла, что отныне и до века стою на „ленинградской“ стороне»; «... [петербургский. — *И. А.*] текст — предвосхищение „нашей“, ленинградской истории, которая выплеталась на тех же трагических коклюшках. Думаю, они, пребывающие в вечности, и сами это знали. Но испытывали меня прежде, чем привлечь на свою сторону, сделать своим верным союзником»⁷⁷. Хотя повествовательница и называет «нас» «царедворцами» и утверждает, что «всякая ленинградская душа рождается петербургской; всякая петербургская — ленинградской», этот полумистический процесс включает и мгновения сомнений в своем праве наследовать подлинному петербургскому тексту — здесь «мы» на мгновение накладывается на «они»: «... различить тонкие черты знакомого по фотографиям из школьных учебников лица. Рядом с ним [Блоком. — *И. А.*], идущим мне навстречу, все местные лица тушевались, словно уходили в тень. Тень неизбывного прошлого де-

лала их — *наше* — присутствие неуместным, будто мы, пользуясь сомнительным правом настоящего времени, вторглись в другую, но в сравнении с *нашей*, эфемерной, — подлинную жизнь. Это ощущение себя — лишней я с тех пор испытывала не раз и не два»⁷⁸.

Чицова внимательно прослеживает момент срастания тех предков, кто был выходцем из деревни, с городом: «... шаг за шагом, новые горожане теряют связь с деревней. Как и многое в жизни, эта кровная потеря осознается не вдруг. Со временем она станет обретением: кровной связью с Ленинградом, которую мало кто из них ощущал до войны. После блокады эта связь стала неразрывной. Переходящей из поколения в поколение. „Город, который мы отстояли” — даже в XXI веке этой трагической связью можно многое объяснить»; «Город сам следит за тем, чтобы новые жители превращались в его преданных адептов. И не прощает измены: предавший его, считай, пропал»⁷⁹.

Неслучайно (и этот психологически-художественный прием оказывается едва ли не за гранью этически допустимого) используется параллель вынужденных переездов на окраину Ленинграда — и эвакуации («... когда мы вернулись наконец из *эвакуации* (полгода не дотянувшей до своего военного прообраза)»; «... между девочкой, уехавшей с Театральной, той, что через полтора года переехала по новому адресу, лежал опыт купчинской жизни: во двор-колодец я вышла во всеоружии — *выковыренные* [эвакуированные. — И. А.] городские дети взрослеют быстро»; «... вернувшись из второй в моей жизни *эвакуации*, когда, унося ноги с Комендантского аэродрома (районы спальной застройки — не Петербург)...»⁸⁰).

«Они» (иногда заменяемое словом «ларвы», т.е. привидения, маски, личины) у Чицовой — это «бесы, перетянутые кожаными портупелями», которые выходят в город по ночам «с той, обратной, стороны». «Вместо лиц — личины. [...] Изнаночное советское время всецело их: лестницы, сведенные ужасом; проспекты и улицы; стогна града, вздернутые, повисшие в пустоте»; «После победных, отгремевших реляций ларвы торопятся взять свое. Для них, орудующих с изнанки человечества, война не закончилась — перешла во внутреннюю стадию»⁸¹. «Нас» от «них» отличает в первую очередь, память: «... ступая по их словам, как по цепочкам смыслов, я впервые осознала: мы и они существуем в разных мирах. Не в ми-

стическом смысле (это само собой). А в том, что у нас разная память»; «... „мы” и „они” служим разным богам»⁸².

«Мы» — хранители города: «... мы, оставшиеся, делали общее дело»; «Словно именно во мне, заранее, задолго до рождения, собрался опыт их прежнего существования — своего рода конденсат, выпавший на мою душу. Однажды [...] я вдруг подумала: а что, если я — та самая [...] девка [...], которая, впрягшись в соху времени, должна „опахать” этот город, изнемогший от повальной болезни — не то морового поветрия, не то моровой язвы. С тех пор я смотрела на Ленинград иначе. На эти улицы, дома, переулки — мне казалось, они собрались [...], чтобы, ёжась [...], просить защиты от варваров. Их тихие и скромные просьбы — самое достоверное из всего, что открылось мне в тинейджерской юности, вошло в мою память как нечто незыблемое»; «Они, эти вещи, пришедшие ко мне из прошлого, делают петербургское время пронизываемым: я и здесь, и там. Не представляю, что такого может случиться, чтобы я, временный хранитель, решила отдать их в чужие руки. Отказаться от них. Продать. Да какое там! — предать»; «... втемяшившись в наши петербургские мозги всей своей ленинградской историей, он сам обеспечил себя защитниками, готовыми кинуться ему на выручку по первому зову. [...] Теперь здесь все родное и беззащитное. Требующее нашего постоянного присутствия и догляда. Стоит нам, его хранителям, отвернуться, и варвары — вот они, тут как тут. С ломami, кирками, лопатами, со своими обрюзгшими душами. Им, пришлым, только дай волю...»⁸³.

Вместе с городом «мы» — также и жертвы «их» («Бедный, бедный мой Город, ненавидимый ларвами!»); «Там, в глубине зазеркалья, маленькие фигурки, отданные им на откуп... Судьба, горше которой не представить. Да горше и нет»⁸⁴.

«Их» оружие и «их» союзники — «беспамятство и страх» («Реанимировать страх — не фокус. В этом деле ларвам нет равных. С беспаятством сложнее. Но „работать” они умеют. Им, людоедам, не привыкать»⁸⁵). «Мы» же — хранители в том числе и памяти, борцы за нее, за преодоление заговора молчания и прерывание обета молчания («... тайные золотники памяти, которые я скопила по крупичам, не то что не имеют свободного хождения — их и за золото не держат. Предпочитают „самоварное”...»⁸⁶). Это — выйти за пределы «порос-

шего советскими будыльями поля» памяти — одна из задач как данного конкретного текста, так и всей жизни: неслучайно повествовательница прибегает к военной терминологии и военным аналогиям, акцентируя местоимение «мы» («... принимая это решение, становлюсь (подобно моему отцу) ополченцем. Ухожу на войну»; «... нас, тайных ополченцев, было много...»; «... мгновенно, по принципу свой-чужой, лежащему в основе любых партизанских действий...»; «Скорее, отряд — небольшой не слишком хорошо экипированный, состоящий из молодых-необстрелянных, только-только закончивших какие-нибудь краткосрочные военные курсы [...] и вступавших в бой вместо перемолотой в жестоких боях регулярной армии. Влекомые самомнением юности, мы были готовы сражаться...»; «Вот причина, по которой нам — в обход блокпостов вооруженных до зубов [...] оккупантов — пришлось выходить из окружения. В надежде добраться до не занятой врагами Большой земли. То пригнувшись, короткими перебежками, то горелым лесом [...], то прокладывая путь сквозь будылья, разросшиеся соцреалистической дурниной, то ползком по колкому, даже сквозь плотную гимнастерку, идеологическому жнивью; то и дело ранив руки острым, точно лезвия опасной бритвы, осотом страха — мы шли по пересеченной местности, по которой в военную пору хаживали наши героические деды и отцы...»; «... в нашем мобильном партизанском отряде...»; «У каждого из нас, рядовых бесшумного войска...»; «... острым наслаждением от новых, отвоеванных у врага, книг. [...] Так мы и шли, стремясь вперед, краем глаза отмечая, как нашего полку то прибывает, то убывает — время от времени от него отделяются маленькие мобильные отряды...»⁸⁷ и т.д.).

Повествовательница анализирует превращение невинного «я» («Я, четырехлетняя девочка, от всего от этого в стороне. При мне родители ничего *такого* не обсуждают») в обремененное памятью и долгом «мы»: «Попытку стать непосторонней я предприняла лет пяти. Помню испуг в мамином, обернувшемся в мою сторону, голосе, когда, вдруг осознав, что ребенок что-то понимает, она дала первый попавшийся ответ: не проясняющий, а, скорее, уводящий в сторону, — и красноречиво глянула на бабушку. А бабушка отвела глаза. Спohватившись, они обе *замолчали*. [...] Их тактику я раскусила довольно скоро. А потому знала: никуда им от этих слов не деться. Надо просто загaitься, дожидаться, пока они опять *заговорят*. С моей

стороны тут проглядывали начатки стратегии, которой с этих пор я неукоснительно придерживалась, что — не сразу, а в свой срок — принесло плоды»⁸⁸.

Этот процесс ощущается именно как долг — долг роста от «я» к «мы» (подлинные петербуржцы и ленинградцы), долг принятия на себя памяти предков и долг отделения их от «чужаков» — «мы» от «они». Неслучайно мама и бабушка не навязывают девочке бремя своей блокадной памяти, «осознавая себя членами какого-то тайного ордена, чьи статут и ритуал зиждутся не столько на общепринятых моральных нормах [...], но и на своих собственных, особых, к которым потомки вроде бы и могут приобщиться, однако не безусловно и не задаром. А предприняв для этого известные усилия. [...] О том, что у меня какой-никакой, но шанс есть, я догадалась после одного, памятного мне, разговора [...]. Мне до сих пор чудится, будто, говоря о четвертом поколении, она имела в виду нечто большее — теперь я сказала бы: четвертое измерение, — изломанное, тайное, куда я имею право проникнуть»⁸⁹. Этот процесс включает в себя физическое измерение: девочка «(до дрожи в деснах) пристрастилась грызть затверделые хлебные корки [...], жмурясь и воображая, будто черная корка [...] не завалилась в эмалированной хлебнице, а иссохла под половицей или же за шкафом», «однажды, глядя на сковородку с остывшим жареным мясом [...] не осознала, скорее, ощутила истинное значение того, что скрывается под словом *мягкиечастии*, и, пережив спазм никогда прежде не испытанного отвращения, надолго отвратилась от мяса, распространив этот нечеловеческий ужас на безвинные рыбные консервы с „отпугивающим” названием „Мелкий частик”»⁹⁰. Это необходимость прислушиваться и присматриваться, вслушиваться и вглядываться: «У меня в голове завелась отдельная полочка, куда я складывала их неизбежные проговорки, порой вербальные, но чаще интонационно-мимические»; «Меня, семилетнюю, поразили не столько слова, сколько мамина интонация: сильная и решительная, за которой я расслышала что-то другое, тайное, хотя и не совсем блокадное [...], но все-таки каким-то невнятным образом связанное с блокадой. Каким?.. Снова мне пришлось наострить уши»; «Не могла же я не замечать, как бабушка выключает радио, стоит ему заикнуться про блокадников, про их „особую стойкость и героизм”»⁹¹.

Помимо «осознанной» памяти, согласно повествовательнице, «мы» обладают также памятью врожденной (или же это она постепенно выходит в поле сознания). Именно она оказывается одним из аксиологически, психологически значимых признаков, позволяющих очертить маркированный трагедией города круг «наших»: «Это говорю не я, а они, мои блокадные гены»; «Память о непрожитом, о том, что случилось до моего рождения, стала источником глубокой и неосознанной печали, которая преследовала меня, сколько я себя помню. С самых первых лет»; «У нас, детей и внуков блокадников, особая память. Как, впрочем, и судьба»; «Такой же неколебимой была и моя связь с Ленинградом. О том, что эта связь существует, я знала так же непреложно, как щенок знает свой поводок»; «... в моем сознании между мной и Ленинградом так и так наличествовала неразрывная связь»; «... „блокадный наказ“, сформированный во мне ранним детством, который я ощущала как что-то иррациональное, охотно откликаюсь на звук его трагической трубы. На жизнь — текущую во мне, рядом со мной, мимо меня — я смотрела с этим, трагическим уклоном. Там, где “нормальный” человек, не тронутый семейной памятью о войне и блокаде, находил повод пригорюниться, я горевала вовсю. Жизнь без горя и горечи [...] представлялась мне лишенной важнейшего фермента, определяющего не столько модус самого по себе существования [...], но его постоянного и неотступного осмысления»; «С ним [Петербургом. — И. А.], с его генетическим кодом, можно только совпасть»; «... как блаженная душа Августина родилась христианкой задолго до христианства, так и наши становятся петербургскими задолго до появления на свет»⁹². Определяющие «мы» память и нерушимая связь с пространством здесь синонимичны.

Ситуация с «мы» и «они» у Чижовой — не менее сложная этически (хоть и иначе), чем у Шнайдерман с «мы» и «мы». Уровни реальности двоемыслия неизбежно соприкасаются, образуя «тонкий лед», на который в какой-то момент ступает и история родных, заставляя повествовательницу спустя десятилетия пережить ужас и стыд от «генетической» сопричастности к деятельности «их» («Постой-постой... Что-то я не пойму. Этот дядя Саша. [...] Он-то кем работал? — Разве я не сказала? Сперва на заводе. Рабочим. Потом охранником. На зоне. — В смысле... вертухаем? „Дядя Саша“ приходится мне двоюродным дедом, седьмая вода на киселе — но все равно

жмет сердце. Трудно дышать, будто окунули в грязную воду времени. Меня — с головой. [...] Я пытаюсь примерить на себя безумную коллизию: один брат в бегах, другой — подался в вертухаи»⁹³.

Двойная реальность страны («лицевое время» — глянцево-советское бытие, изнанка — сталинский террор и неоднозначность памяти о прошлом) определяет повседневность, ее ритуалы: «Уходя с Забалканского, мама снимала нарядное платье и надевала свое. Ситцевое или штапельное. Так, возвращаясь в мир видимых, она превращалась обратно в дворовую девочку [...]. В счастливом, лицевом, мире эта девочка ведет счет по “летам”»; «Гости пели тихими голосами. Мама говорит: светлыми. Приникнув ухом к стене, она вслушивалась, но не могла разобрать слов. На 1-й Красноармейской песни совсем другие. [...] Плясали, распевали песни из фильмов. На московском прекрасном просторе...»⁹⁴. Тень этой изнанки маленькая повествовательница видит во сне: «... я видела темный город. По улицам идут люди. Другие, не похожие на нас»⁹⁵. Эта двойственность формирует в ребенке (маленькой маме повествовательницы, а затем и в ней самой) привычку к «взрослым» разговорам и обетам молчания («Что-то, о чем взрослые молчат: и здесь, на Забалканском, и там, на 1-й Красноармейской. Только [...] мамина бабушка по отцу, год от году чернеет лицом. Неладное творится втайне, в мертвой тишине»; «Если мать не готова к играм в отшибленную память, тогда ее ответ: „Молчи. Вырастешь — поймешь”»: «Знаешь, я ведь тоже молчала. Дома — о том, что видела и слышала у бабушки. У бабушки — о том, что слышала дома...»; «А в семье они это обсуждали? [...] Наверное. Только не при мне. Когда я спрашивала, Гриша говорил: [...] Потом мы все тебе расскажем, это совсем не интересно... Потом, обещанное Гришей, так никогда и не наступило»; «— Подожди, — я перебиваю. — Тайная церковь, о которой ты не рассказывала дома. А у бабушки — ты о чем молчала? — О чем? [...] Дядя Андрей, брат моего отца, дружил с Кировым... [...] Разве я не рассказывала? [...] — Нет, ты мне не рассказывала. О „Деле Кирова” я узнала сама»; «... если мы семья — где же мой дед? Трудно понять, почему, споткнувшись об этот вопрос, я не задала его родителям — быть может, чувствовала таящуюся за ним опасность»; «Думаю, сказался и домашний опыт сугубого „молчания”, привычку к которому я незаметно для себя переняла»⁹⁶.

Таким образом обеспечивается непересечение разных миров и иллюзия их чистоты, незапятнанности друг другом: «В сознании шестилетнего ребенка две жизни — „дома” и „у бабушки” — не пересекаются, идут параллельными курсами. [...] детское незамутненное сознание отражает двойную реальность, в которой живет страна. Два мира, лицевой и изнаночный, меж ними зияет дыра молчания — стволовая клетка нашего будущего двоемыслия. Граница соприкосновения неопределима. Она везде и нигде»⁹⁷. В 1930-е гг. между домом родителей и бабушки для ребенка «лежала пропасть. По сути непреодолимая. Не два различных уклада — а две цивилизации. Две формы жизни»; «Перво-наперво полагалось переодеться: здесь, у бабушки, негоже ходить в том, в чем привыкла там, у себя. Нарядные платья, достойные здешней жизни, [...] бабушка шила ей сама»; «... выростала картина лицевого мира — не дай бог глянуть с изнанки»⁹⁸. Но и в послевоенное детство повествовательницы проникает эта грань между видимым и невидимым, знанием официальным и сокровенным, таящимся, хранимым семейной памятью: «В мире, где я живу, таких слов нет. Они остались только на открытках и на бабушкиных губах. Между тем и этим миром стоит невидимая преграда, похожая на занавеску»; «расширение» [мира. — И. А.] прорастало из загадочных слов: *больницанаконяшина, комнатаназабалканском, мягкиечастии, мальчикинеживут*. Делая вид, что разговариваю с куклой, я повторяю эти слова, шепчу. Мои губы учатся шелестеть: как бабушкины. В жизни, которую я знаю, этим словам нет соответствий. Но, если мама с бабушкой их понимают, значит — так я рассуждала, — под ними что-то есть. Тайное, от которого и картинок не осталось. Так — хорошенько — оно скрыто от посторонних глаз»⁹⁹.

Следует отметить, что повествовательница хотя формально и восстанавливает в семейной истории историю своего двоюродного деда, служившего «им» («... дядю Сашу [...] перевели на Дальний Восток. Разумеется по службе. Сделал ли он мало-мальски видную карьеру в органах — неизвестно»; «У Александра была дочка Женя. Перед войной он уволился с завода и перешел на новую работу. Охранником на зону. Вскоре его перевели. В Сибирь, на восток. Больше о них не вспоминали. Даже про Женю. Потом, уже после войны, Лиля, моя двоюродная сестра, говорила: никакой Жени не было. Дескать, я перепутала»), но все же решительно отделяет его от «я» и «мы»:

— «По мне — да и черт с ним! Что мне этот, двоюродный. У меня есть родной»¹⁰⁰ (в отличие от процесса заполнения других «белых пятен» семейной истории — включаемых в собственную предысторию судьбы родного и другого двоюродного деда, с которыми повествовательница акцентирует и укрепляет через повествование свою генетическую общность — чувство «мы»).

Другими словами, у Чижовой «мы» имеет значение отождествления себя с ценностно значимой группой, выделения множества «своих людей» («твой народ — ленинградцы», — слышит девочка в детстве) в противоположность другим, ненастоящим, неподлинным петербуржцам — «им» («На место прежних жителей, пущенных в расход и распыл (ленинградской жилплощади пустовать негоже), оперативно завезли новых — их, точно кукушат, подложили в опустелое городское гнездо»)¹⁰¹.

Одним из лейтмотивов, способствующих разграничению «мы» и «они», оказывается у Чижовой воспоминание о языковом «лото с семейными картонками». С его идеально-выверенной схемой — «Папа (father, Vater, père) читает газету „Правда“; мама (mother Mutter, mère) с бабушкой накрывают на стол; сын-пионер мастерит модель аэроплана (о, эта вечная поза правильных советских мальчиков: голова слегка откинута, в правой руке крылатая бумажная „птица“, глаза, подернутые мечтательной поволокой, устремлены в светлую коммунистическую даль); дочь-октябренок с неопределенной улыбкой на устах готовит школьные уроки; дедушка, сидя в кресле, любителю внуками...» — повествовательница иронически сопоставляет состояние и рецепцию реальных семейных отношений и фамильной памяти: «В отличие от картонной бабушки, носившей аккуратнo-жиденькую кичку, голова покрыта белым платком [...]. Если судить по внешнему облику, никаких иностранных аналогов. На обороте этой карточки значится: babushka — на всех без исключения языках. [...] могу проследить еще одно отличие от бабушки с картонки. Та [...]. *А моя [...]. Та-то, картонная, небось [...].* Впрочем, что мне до нее! У меня была *своя* бабушка. Которая *не имела ничего общего* с правильной, советской, во всех ее — расставим точки над *i* — существительных-ипостасях: ни с картонной бабушкой, ни с самой властью»; «Отчество неизвестно — эта карточка потеряна, вместо нее в маминой памяти зияет пробел»; «Даже в этом частном вопросе они

с эталонной советской бабушкой не нашли бы общего языка»¹⁰²). За «нами» и соответствием верной схеме бдительно наблюдают «они» («в моем случае методистам было не о чем беспокоиться. [...] я слышу их бензиновые голоса [...], но их, потирающих нечистые ручки в надежде на хитрый замысел, ждало разочарование»¹⁰³), пытающиеся навязать единственно правильную версию истории. «Я» же, обращаясь к памяти «мы», словно к камертону, оспаривает ее, вычерчивая собственную — подлинную, ибо отсылающую к живой реальности травматического опыта: «Эту горбатую идеологему [...] развенчивает история моей семьи»¹⁰⁴.

Повествовательницами, т.о., движет жажда упорядочения этического хаоса истории/реальности/памяти.

Повествование Шнайдерман направлено на соединение двух не общавшихся прежде ветвей генеалогического древа («Два нарратива, которые идут параллельно, не встречаясь и не пересекаясь. И может показаться, что их ничего не связывает, если не помнить о том, что люди, о которых идет речь, жили под одним небом и дышали одним воздухом»¹⁰⁵). Точкой соприкосновения на биографическом уровне оказывается история любви родителей, о которой словно бы зримо свидетельствует появление на свет автора), на этическом — принятие ответственности за националистический эгоцентризм предков. С этой перспективой связано само заглавие книги — «Продавцы поддельного перца». В начале августа 1942 г. в одной из газет, издававшихся в оккупированной Варшаве, было опубликовано объявление фирмы «Сатурн», предостерегавшее от покупки поддельного перца. «Такого рода статьи были призваны отвлекать внимание жителей столицы от драмы евреев, — говорит писательница. — А мы смотрели, но не знали»¹⁰⁶.

Эту ответственность Шнайдерман, пропуская через себя и отказываясь от алиби, которое дает принадлежность к другому поколению («Неужели только благо позднего рождения может снять с нас бремя истории и снова сделать безгрешными?»), возлагает и на себя, и, задним числом, на своих предков, окончательно объединяя «они», «мы» и «я» в единое целое: «Мы жили неподалеку как ни в чем не бывало. Могли ли мы об этом не знать? Могли ли мы что-нибудь сделать?»; «Потому что я смотрю через двойные очки, и они смотрят вместе со мной. [...] я утратила безгрешность и тем самым отобрала

ее также и у *них*. И теперь *мои* польские предки *вместе со мной* берут на себя ответственность за судьбу *моих* еврейских предков»¹⁰⁷.

Чицова в своем упорядочении этического хаоса также действует и в настоящем, и в прошлом, «задним числом» отделяя «нас» (и собственно предков, и всех, кому она — потомственная петербурженка-ленинградка — наследует) от «них», словно бы защищая первых от вторых. Это воплощается, в частности, в воображаемых разговорах и гипотетических репликах. Так, повествовательница говорит об уничтоженном «ими» предке: «Я знаю, что Володя ответит. Скажет: теперь-то я понимаю, ты пошла правильной дорогой. Не им, ларвам, пускавшим под откос наши молодые жизни, пришлось за все ответить. А тебе [...] искупить [...] незавершенность моей судьбы. [...] Вот именно, я снова кивну, и знаешь, ежели моя догадка верна, если им мало было твоей безвременной смерти, если на нашей с тобой семье еще оставалась [...] дебиторская задолженность — пусть подавятся моими потерянными годами»¹⁰⁸. Или, в диалоге с отцом: «Единственное, что осталось от той, на грани гибели, истории, — пожизненный страх, который отец скрывал до последнего, до самой больничной палаты, где он лежал после тяжелой операции, отходя от наркоза. Когда я вошла, отец открыл глаза. Узнал меня, назвал по имени. И сразу, перемогая наркотический морок, приказал встать у двери: „Берия... уже выслал своих людей... Стой и не пускай”. „Не бойся, — я ответила твердо. — Они не пройдут, я их не пушу”. Отец кивнул: „Хорошо”. Поверил мне. Задремал. Прошло немало лет, но я и теперь стою у этой двери. До сих пор стою»¹⁰⁹.

Следует отметить, что этическая проблема принадлежности к другому поколению появляется и у Чицовой — однако рождение в другое время воспринимается ею не как сомнительное алиби, а как постыдная невозможность если не предотвратить преступление по отношению к широко понимаемым предкам, то хотя бы разделить их судьбу: «Всякий раз, выбираясь на берег, с которого советская власть видится болотом, исходящим гнилыми пузырями, я чувствую глухой стыд: за то, что родилась в другое время. За то, что ничем не могу им помочь»; «„Блокады на вас нет”, — слова, заставившие меня [...] отпрянуть, отдались в моем сердце печалью и тоской. [...] я пошла дальше, чувствуя, как тоска перетекает в жгучую боль за мой бедный, истерзанный унизительно-трудной советской жизнью город,

и в этом плотно закупоренном сосуде створаживается, вступая в реакцию с остатками стыда»¹¹⁰.

В первом случае, у Шнайдерман, этот процесс упорядочения этического хаоса сродни гештальтподходу, помогающему преодолеть невротические механизмы с помощью изменения структуры коммуникации, языковых средств. Здесь также речь идет о персонификации местоимений, позволяющей принять ответственность *на себя* — но не о лежащей в одной временной плоскости замене обобщенной перспективы «мы» личной перспективой «я» (как в психотерапии), а о замене также освобождающей от ответственности оптики «они» (предки) — оптикой «мы» (включающей в себя сегодняшнее «я» повествовательницы). Взяв на себя ответственность за действия предков и обременив ею их, автор таким сложным и болезненным образом объединяет себя с ними (и — одновременно — с жертвами их гипотетических действий или реального бездействия).

Повествовательница Чижовой в своем четком разграничении «нас» и «их» берет на себя ответственность за память «нас» и «о нас», осознаваемую как единственно подлинную и этически ценную, словно бы в значительной степени снимая с «нас» историческую ответственность. В этом смысле обращает на себя внимание случай непосредственного обращения к «ним» — во втором лице: «... я скажу [...] глядя в *их* черные, мерцающие абсолютным Злом глазницы: — Наш семейный „долг“ погашен. Но вы, листающие свои разбухшие от крови гроссбухи, не надейтесь на нулевое сальдо»¹¹¹.

Вектор движения повествования Шнайдерман — объединяющий, связующий, Чижовой же — разъединяющий, разделяющий. У Шнайдерман движение совершается от «они» через «мы» к «я», у Чижовой — от «я» — к «мы». Характерны в этом отношении финалы. У Шнайдерман это фотография маленькой повествовательницы с родителями, реальная точка соединения двух миров: «... благодаря ей [матери. — *И. А.*] случилось то, что казалось невозможным, судьбы Липских, Ляхертов, Чисьвицких и Моти соединились с судьбами Розенбергов, Вайсбаумов, Фламенбаумов и Шнайдерманов. Благодаря ей, в 1959 году, ровно через сто лет после рождения моих еврейских прадедушки и прабабушки, Файги Фламенбаум и Израила Мошека Шнайдермана, некая история замкнулась, описала круг, и я появилась на свет. [...] Благодаря ей, эта история вовсе не обречена

на печальный финал»¹². У Чижовой же в финале — не рождение, а гипотетическая смерть, также воплощающая воссоединение фамильной памяти, слияние с судьбой предков, пазл, сложенный до конца: «... маленькие кривые кусочки; если сложить их правильно, получится картинка. [...] Зарывшись лицом в бабушкину подушку, я успею подумать: какое счастье, господи, какое счастье... И тогда умру»¹³.

Ценностно ориентированное употребление местоимений в повествовании Шнайдерман и Чижовой оказывается средством выражения аксиологической позиции повествователя, который пытается осмыслить проблему того, как сопрягается личная и семейная память с официальной версией исторической травмы. Таким образом, грамматическая категория становится важнейшим инструментом работы с травматическим опытом прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Подробнее см: *Адельгейм И.Е.* Психология поэтики. Аутопсихотерапевтические функции художественного текста. М., 2018.
- ² *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. М., 2019. С. 306.
- ³ *Sznajderman M.* Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. Wołowiec, 2016. S. 26, 36–37, 53, 94.
- ⁴ *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 68–69, 70, 83, 92.
- ⁵ *Tulli M.* Włoskie szpilki. Warszawa, 2011. S. 23.
- ⁶ *Cyrulnik B.* Ratuj się, życie wzywa. Warszawa, 2014. S. 170.
- ⁷ *Sznajderman M.* Wywiad. Jak pogodzić się z tym, że dziesięcioletni chłopiec jedzie do Treblinky? // Magazyn O!Kultura. 2016. № 13. URL: <http://ksiazki.onet.pl/monika-sznajderman-jak-pogodzic-sie-z-tym-ze-dziesiecioletni-chlopiec-jedzie-do/hwl2xz> (дата обращения: 14.09.2020).
- ⁸ *Sznajderman M.* Fałszerze pieprzu. S. 19–20.
- ⁹ *Szwajca K.* Rodziny po Zagładzie // Midrasz. 2011. № 6. S. 13.
- ¹⁰ *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 156, 200.
- ¹¹ Там же. С. 200.
- ¹² *Воронина Т.* Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. М., 2018. С. 8, 202.
- ¹³ *Sznajderman M.* Fałszerze pieprzu. S. 37, 53.
- ¹⁴ *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 73–74, 135, 263.
- ¹⁵ *Sznajderman M.* Fałszerze pieprzu. S. 37, 100.
- ¹⁶ *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 133, 151.
- ¹⁷ *Sznajderman M.* Fałszerze pieprzu. S. 58, 86.

- 18 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 71, 93, 103, 133–134.
- 19 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 34.
- 20 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 54, 112, 133.
- 21 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 27, 66.
- 22 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 103.
- 23 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 121.
- 24 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 116, 126.
- 25 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 94, 88, 94, 82.
- 26 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 69–70, 89, 310.
- 27 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 95, 140–141.
- 28 *Baer U.* Ku spojrzaniu demokrytyjskiemu // *Antologia studiów nad traumą.* Kraków, 2015. S. 177.
- 29 *Рождественская Е.Ю.* Биографический метод в социологии. М., 2012. С. 26.
- 30 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 40, 128, 43, 51, 52–53.
- 31 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 59–64, 96–97.
- 32 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 26.
- 33 *Sznajderman M.* Wywiad.
- 34 *Langford M.* *Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in a Photographic Album.* Montreal, 2001. S. 20. Цит. по: *Саркисова О., Шевченко О.* В поисках советского прошлого: Любительская фотография и семейная память // Новое литературное обозрение. 2015. № 1. URL: <http://www.plobooks.ru/node/5828> (дата обращения: 14.09.2020).
- 35 *Зонтаг С.* Взгляд на фотографию // *Мир фотографии.* М., 1998. URL: <http://www.photographer.ru/cult/theory/401.htm> (дата обращения: 14.09.2020).
- 36 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 26, 40.
- 37 *Ibid.* S. 58, 26, 27.
- 38 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 89.
- 39 *Веселаго Е.В.* Системные расстановки по Берту Хеллингеру: история, философия, технология // *Психотерапия.* 2010. № 7; 2011, № 1 URL: <http://www.constellations.ru/paper.html> (дата обращения: 14.09.2020).
- 40 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 284.
- 41 Там же. С. 311.
- 42 Там же. С. 129.
- 43 *Sznajderman M.* Wywiad.
- 44 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 30.
- 45 Там же. С. 115–116, 131, 127.
- 46 *Langer L.* Scena pamięci. Rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holocaustu // *Literatura na Świecie.* 2004. № 1–2. S. 127.
- 47 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 196.
- 48 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 86, 109, 104.
- 49 *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 293.

- ⁵⁰ *Sznajderman M.* Wywiad.
- ⁵¹ Ibidem.
- ⁵² *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 306.
- ⁵³ Там же. С. 291–292, 306–307.
- ⁵⁴ *Sznajderman M.* Wywiad.
- ⁵⁵ *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 97, 66.
- ⁵⁶ *Sznajderman M.* *Falszerze pieprzu.* S. 120–121.
- ⁵⁷ *Хасс Д.К.* Выживание и страдание в годы блокады Ленинграда: блокадные нарративы как акциональные модели, город и его жители как акторы // Блокадные нарративы. М., 2017. С. 115.
- ⁵⁸ *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 8–9, 92–93, 135, 198, 239, 282.
- ⁵⁹ *Гранева И.Ю.* Местоимение мы и проблема языковой концептуализации мира // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 2. С. 83, 87.
- ⁶⁰ *Sznajderman M.* *Falszerze pieprzu.* S. 199.
- ⁶¹ Ibid. S. 100, 97, 116.
- ⁶² Ibid. S. 35, 217, 214–215
- ⁶³ *Sznajderman M.* *Falszerze pieprzu.* S. 167.
- ⁶⁴ Ibid. S. 209–210.
- ⁶⁵ Ibid. S. 210.
- ⁶⁶ Ibid. S. 235–236.
- ⁶⁷ Ibid. S. 228, 226.
- ⁶⁸ Ibid. S. 236.
- ⁶⁹ *Гранева И.Ю.* Местоимение мы и проблема языковой концептуализации мира. С. 83.
- ⁷⁰ *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 189.
- ⁷¹ *Хасс Д.К.* Выживание и страдание в годы блокады Ленинграда: блокадные нарративы как акциональные модели, город и его жители как акторы. С. 116.
- ⁷² *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 230, 223–224, 241.
- ⁷³ Там же. С. 242–243.
- ⁷⁴ См. подробнее: *Адельгейм И.Е.* «Подвальные истории, скользкие повести, блуждающие вдоль стен...». Освоение опыта исторической вины в современной польской прозе // Память vs история. Образы прошлого в художественной практике современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы (по материалам II Хоревских чтений). М., 2019 С. 224–251.
- ⁷⁵ *Чиждова Е.* Город, написанный по памяти. С. 281, 245–246.
- ⁷⁶ Там же. С. 13.
- ⁷⁷ Там же. С. 13, 83, 226, 242, 312, 115, 202, 219–220, 239.
- ⁷⁸ Там же. С. 247, 314, 241.
- ⁷⁹ Там же. С. 86–87, 245.
- ⁸⁰ Там же. С. 187, 188, 245.
- ⁸¹ Там же. С. 84, 154.

-
- 82 Там же. С. 232, 245.
83 Там же. С. 278, 229, 242, 244–245.
84 Там же. С. 84.
85 Там же. С. 154.
86 Там же. С. 199.
87 Там же. С. 267, 268, 269, 271, 272.
88 Там же. С. 160, 166.
89 Там же. С. 167–169.
90 Там же. С. 170.
91 Там же. С. 166, 177, 201.
92 Там же. С. 108, 171, 177, 201–202, 239, 242.
93 Там же. С. 48, 94.
94 Там же. С. 83, 82.
95 Там же. С. 164.
96 Там же. С. 83, 36, 94, 91, 35.
97 Там же. С. 83.
98 Там же. С. 68, 79, 261.
99 Там же. С. 163, 165.
100 Там же. С. 94, 305.
101 Там же. С. 138, 94.
102 Там же. С. 33–38.
103 Там же. С. 36–37.
104 Там же. С. 45.
105 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 7.
106 *Sznajderman M.* Wywiad.
107 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 235, 227, 213.
108 *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 265–266.
109 Там же. С. 204.
110 Там же. С. 241, 275.
111 Там же. С. 266.
112 *Sznajderman M.* Falszerze pieprzu. S. 270.
113 *Чижова Е.* Город, написанный по памяти. С. 315–316.